

## СОЮЗЫ ЯЗЫКОВЫЕ И ВНЕЯЗЫКОВЫЕ

*Александр Мотелевич Мелихов*

Писатель, философ, литературный критик, публицист, кандидат физико-математических наук, заместитель главного редактора журнала «Нева». Произведения переводились на английский, датский, венгерский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский языки. Лауреат множества премий, тройной шорт-листер премии «Русский Букер». Участник ряда социальных российско-европейских программ. Разрабатывает концепцию «человека фантазирующего», рассматривая историю человечества как историю зарождения, борьбы и распада коллективных грез.

E-mail: amelikhov@mail.ru

## LANGUAGE AND EXTRA-LINGUISTIC UNIONS

*Alexander M. Melikhov*

Writer, philosopher, literary critic, publicist, candidate of Physical and Mathematical Sciences, deputy chief editor of the magazine “Neva”. The works were translated into English, Danish, Hungarian, Italian, Chinese, Korean, German, Polish. Winner of many awards, nominee of the Russian Booker Prize. Member of a number of social Russian-European programs. Develops the concept of a “man of the fantasist”, considering the history of mankind as the history of the origin, struggle and disintegration of collective dreams.

E-mail: amelikhov@mail.ru

В эссе автор размышляет о роли, которую играет язык в процессе создания или подтверждения национальной идентичности. Он приходит к выводу, что в истории есть примеры как подтверждающие, так и опровергающие этот тезис. Язык воспринимается автором как одна из «национальных грез», способных консолидировать общество перед лицом небытия. Также автор затрагивает такое важное для себя понятие, как «бунт простоты» против драматичной, а порой и трагической сложности устройства социума.

In his essay, the author reflects on the role that language plays in the process of creating or confirming national identity. He concludes that there are examples in history, both confirming and refuting this thesis. The language is perceived by the author as one of the “national dreams” that can consolidate society in the face of non-existence. The author also touches on such an important concept for himself as the “revolt of simplicity” against the dramatic and sometimes tragic complexity of the structure of society.

**Ключевые слова:** коллективная греза, национальная идентификация, нация, сверхнациональные объединения, «бунт простоты».

**Keywords:** collective daydream, national identification, nation, supernational associations, “revolt of simplicity”.

DOI 10.17323/2658-5413-2019-2-3-59-68

Анализируя межнациональные конфликты, я исхожу из тезиса, что *экзистенциальные проблемы стратегически важнее социальных*. Духовная деятельность человека преимущественно направлена на преодоление страха перед собственной мизерностью и брэнностью. В ситуации, когда экзистенциальная защита, ранее (условно говоря, до начала широкого распространения идеалов Просвещения, условно соотносимого с серединой XIX столетия) обеспечивавшаяся религией, ослабела, ее место пытается занять довольно сложный психосоциальный феномен, которому непросто дать название. Точнее всего его было бы определить через понятия *грез и их состязания, фантомов, химер*, но они, как принято считать, ненаучны. Единственное, что можно утверждать со всей очевидностью, — в основе феномена лежит социальное и прежде всего национальное *фантазирование*. Люди в воображении пытаются эмоционально слиться с чем-то могущественным и долговечным, будь то объект, процесс или тенденция. В глобальном плане, когда дело касается больших групп людей, объединенных по национальному признаку, издавна конкурируют два фантома — идеальное существование возможно для изолированной нации или для того или иного объединения наций, часто именуемого цивилизацией (западная цивилизация, восточная, иудео-христианская, буддийская, исламская, англосаксонская, славянская цивилизация и др.).

Цивилизации как средства экзистенциальной защиты имеют то преимущество, что они более могущественны и охватывают более широкие массы людей, чем отдельно взятые нации. Но они и более абстрактны: ими не накоплено арсенала трогательных образов, рисующих нацию по образу и подобию семьи. А ведь именно такой банк дает радикальный перевес в пропаганде: убивают *наших* братьев, насилуют *наших* сестер, вырастают *наши* дети, защищаем *наших* отцов и матерей... За каждой нацией стоит огромная мифология, повествующая о подвигах и страданиях героев-предков, о какой-то особой исторической миссии. Цивилизационным мифологиям по части воодушевления, то есть экзистенциальной защиты, с национальными мифологиями тягаться трудно. Вот почему, как правило, нации без особой нужды добровольно не стремятся присоединиться к цивилизациям. К слиянию их влекут сравнительно маломощные рациональные мотивы.

Иными словами, на объединение работает желание присоединиться к победителям, а на разъединение — страх занять в стане победителей слишком жалкое место. Этот страх вынуждает держаться за национальную экзистенциальную крышу, чтобы не остаться вовсе под открытым небом. И в борьбе между национальным изоляционизмом и цивилизационной открытостью заметным участком на передовой оказывается языковое противостояние — между языками национальными и языками наднациональными, общецивилизационными. Ненависть национал-изоляционистов обычно обращается на тот чужой язык, который в данный момент обладает особенным влиянием и притягательностью. В этих случаях объединяющему языку приписываются самые немыслимые пороки в противовес таким же немыслимым достоинствам собственного языка. Если же между носителями объединяющего и отъединяющего языка намечается военный конфликт, ненависть к враждебному языку у националистов выходит на грань психоза. (Впрочем, почему «на грань»? Массовые психозы и есть одна из главных причин современных войн.)

Иоганн Готфрид Гердер писал, что многонациональные империи — государства испорченные, *развращенные*. Более того, жителя такой империи или входящий в нее народ оскверняет не только совместное проживание в одном государстве, но даже пользование чужим языком. Во времена Гердера это был французский, поскольку к концу XVIII в. он считался языком высшего общества. Даже российская «Беседа любителей русского слова», возглавляемая Г. Р. Державиным и А. С. Шишковым, не доходила до такой ненависти, как Гердер, призывавший немца выплюнуть перед порогом своего исторического дома чужое наречие, будто *противную слизь Сены*.

После наполеоновских завоеваний эта ненависть, естественно, удесятерилась: в поражении прусской военной машины обвинили... франкофилию. Эрнст Мориц Арндт утверждал, что французский язык лишает немцев... работоспособности и целомудрия. «Отец гимнастики» Фридрих Ян утверждал, что изучение французского толкает девушек на проституцию. Языку, как мы видим, приписывалась тотальная магическая власть над умами и душами.

Гердер, деятель эпохи позднего Просвещения, не был чужд идеи мистики языка, ставшей, как мы знаем, одной из основ немецкого романтизма. С точки зрения Гердера, с самых первых слов, произнесенных людьми, до их далеких потомков доходят отзвуки давних чувств, страстей, событий. Слова никогда не были звукоподражаниями — эта идея не выдерживает критики с точки зрения современной науки, но зато объясняет, почему Гердер так яростно боролся с французским языком: ведь, по его глубочайшему убежде-

нию, самый первый немец в первом слове, бывшем уже немецким, выразил немецкую национальную идею, от которой ниточка преемственности тянется к современным немцам. Речевой аппарат физически приспособлен для произнесения звуков только родных. И если кто-то говорит на чужом языке, то и живет он не своей, а искусственной выморочной жизнью (того же мнения держался Шлейермахер). Кстати говоря, на близких позициях стоял и Фихте, считавший, будто источники национальной политической нравственности загрязняются присутствием в речи даже отдельных чужих слов.

Язык вырастает в человека, он *врожден* ему, словно физиологически необходимый орган, он организует способ мышления, порождает языковое тело народа. Получается, что целые нации есть органы своего языка — и в этом смысле как языки, так и нации оказываются непрозрачными, непреходимыми друг в друга.

Стремление к языковому единообразию, конечно, еще не фашизм. Однако, если следовать идеям немецких философов, носитель языка психофизиологически соответствует только ему одному, а это приближает нас к расовой теории. И уж во всяком случае тенденция к языковому изоляционизму становится частным случаем явления, которое я называю «бунт простоты». В его основе неприятие сложности социального бытия, во всяком случае драматичной, в крайнем — трагической. Следующими шагами могут стать и в конце концов стали, как показывает история Германии перед Второй мировой войной и во время нее, мировоззренческие и политические требования: одна нация, одно мировоззрение, одна партия, один вождь.

В среде немецких ученых и философов звучали и противоположные суждения. Так, Вильгельм Фридрих Оствальд, физико-химик и автор философии энергетизма, согласно которой единственная реальность есть энергия, по происхождению остзейский немец, родиной которого могут в равной степени считаться Латвия, Россия и Германия, нобелевский лауреат 1909 г., считал, что языковая борьба в наибольшей степени препятствует появлению великих ученых в Европе. Ценен не язык, а то, что на нем создано, считал Оствальд. Если же на языке нет великой литературы, значит, и сам он не может считаться великим.

Как бы там ни было, еще никто не доказал, что выбор языка — развитого, разумеется — хоть сколько-нибудь существенно влияет на мышление. Хотя, конечно, исследования в этом направлении ведутся, но до каких-либо однозначных выводов далеко. Вопрос, что первично, национальный язык или национальный характер, что формирует, а что из чего формируется, неизбежно возвращает нас к спорам о курице и яйце. Тем более что гораздо более важными для формирования национального характера мне представляются

те испытания, вызовы, с которыми каждый народ сталкивается на его историческом пути.

Поэтому лучше обратиться к социальной прагматике. Британский историк Эли Кедури, автор классического труда «Национализм» (СПб., Алетейя, 2010), вышедшего в России через полвека после публикации на английском, извлек из размышлений философов-националистов следующее ядро: человечество разделено на нации, и это деление естественно, а язык — тот критерий, по которому нация может быть признана существующей. А если она существует, значит, она имеет право формировать собственное государство в тех границах, которые считает зоной распространения своего языка. Кедури не занимался вопросом различения нормативного литературного языка и диалектов, понимая, что его могут решить только танки. Но что его возмущало, так это готовность людей убивать друг друга «из-за акцента», которой, как он считал, не было до возникновения националистических, в том числе языковых противостояний. Таким образом, Кедури категорически отрицал приоритет языкового критерия в формировании межнациональных образований, считая, что и жизнеспособность государственных сообществ он делает проблематичной. Что нужно для функционирования такого сообщества? Разумная стабильность, единство внутренних территорий каждого отдельного члена сообщества, четкость границ и военный аппарат, поддерживающий все это на случай бунта, тем более если это бунт простоты. Но что будет, если язык станет критерием государственности? Вряд ли это обеспечит в первую очередь стабильность: идеология, выраженная на развитом и изоощренном языке, столкнувшись с другой такой же, может спровоцировать раскол, не говоря уже о туманных академических теориях, противоречащих друг другу и противоречивых внутри себя. Таким образом, национализм, тем более подкрепленный языковым критерием, приносит в мир нестабильность и взрывоопасность, поскольку затуманивает отношения между государствами, ясные интересы заменяет туманными теориями.

Историческая практика показывает, что апелляция к массам, то есть к силе, во имя якобы спасения языка, на котором говорят массы, не раз использовалась идеологами национально-освободительных движений. В Корее, например, вся знать говорила и писала по-китайски, а потому и практически вся высокая корейская литература была китайскоязычной, — как если бы Пушкин и Толстой, прекрасно знавшие французский язык, еще и свои сочинения писали по-французски. Но, как мы помним из «Войны и мира», во время войны с Наполеоном в свете начинали штрафовать за употребление французских слов, а исторически победа над Наполеоном положила конец



галломании. Нечто подобное произошло и в Корее после того, как в 1910 г. ее аннексировала Япония: было просто невозможно не защищать тот язык, на котором говорило простонародье — главная живая сила партизанского движения.

Напротив, американские колонии, поднявшиеся на борьбу за собственную государственность, не имели возможности противопоставить метрополиям какой-то свой особый язык (англизоязычные — Англии, а испаноязычные — Испании), поскольку не имели его. Они этого и не делали. Взамен формировались иные мифы — мифы вполне могут обходиться и без языковых подпорок. Так, мексиканский министр народного образования Хосе Васконселос, открывший дорогу великой четверке мексиканских монументалистов, доказывал, что смесь народов, образовавшая нынешних обитателей Латинской Америки, являет собой новую «космическую» расу, которой принадлежит будущее. Нарождающиеся Соединенные Штаты Америки тоже о языке не упоминали, а напирала либо на религиозные свои достоинства — они истинные пуритане, — либо на политические: Уитмен слово «демократия» писал с большой буквы, а самым величественным зрелищем Америки называл не Кордильеры и не Великие озера, но — выборы.

А вот сионистам, поднявшимся на борьбу за создание независимого еврейского государства, пришлось делать выбор между апелляцией к народу и апелляцией к языковому мифу, ибо национальная легенда требовала древнего иврита, языка Танаха и Торы, а народные массы говорили на идише, то есть на «жаргоне» — наследии угнетателей. И национальные романтики выбрали красивую легенду. Когда один из сочувствующих европейцев убедительно доказал лидеру российских сионистов Жаботинскому, что английский язык будет во всех отношениях удобнее, и спросил, почему же они все-таки выбрали иврит, Жаботинский подумал и ответил: «Потому». Красивую древнюю легенду сочли более важной для экзистенциальной защиты, а следовательно, и для национального единства.

Случай государственного языка Израиля показывает, что возможен не только «бунт простоты», но и, если угодно, «бунт сложности», столь же иррациональный по видимости («Почему?» — «Потому»), причем победа в нем и более долговременная, и менее кровопролитная. Выбор израильянами на тот момент мертвого языка иврита с последовавшим оживлением его оказался без всякой иронии судьбоносным. Показательно, что на сегодняшний момент умирающим языком оказывается идиш, широко распространенный всего лишь одно поколение назад, и существует целая традиция в литературе и музыке, поддерживающая этот язык в более или менее жизнеспособном состоянии.

Получается, что язык может и быть, и не быть фактором, определяющим национальную идентичность. История знает примеры реализации обеих моделей, и ни одна из них не может считаться исчерпывающей.

А теперь задумаемся о сегодняшнем цивилизационном выборе стран Восточной Европы, и прежде всего — славянских. Какие факторы, какой критерий является ныне первичным при формировании национальной идентичности?

Обратимся к творчеству Чеслава Милоша (1911–2004), ставшего предметом гордости польской национальной культуры и фаворитом общезападной, нобелевским лауреатом. Как известно, с 1960 г. он получил должность профессора отделения славянских языков и литератур в Калифорнийском университете (Беркли).

Писал Милош по-польски. Удивительно, что его переводили на английский и, соответственно, на русский представители обеих враждовавших империй, противостояние которых он наблюдал и оценивал. Язык восточноевропейского народа, одного из маргиналов Запада, стал таким образом принят языками сверхнациональных объединений.

Америку Милош воспринимал как своего рода бастион Запада в собирательном смысле. Главным условием процветания в той стране и, соответственно, в западной культуре он считал фактор личной удачливости, успешности. «Хорошей» Америку считают те, кто добился здесь высот, но целые кварталы американских городов заселены неудачниками, чья жизнь изувечена несбывшимися надеждами, отмечал он.

Зрелость Милоша, прожившего долго и разнообразно, пришлась на самые трагические события столетия — от Второй мировой войны до холодной. Когда-то Алексис де Токвиль предрекал, что двум новым гигантам — России и Америке — предстоит сделаться владыками мира. Милошу довелось увидеть американское торжество. В состязании двух гигантов победил, с его точки зрения, тот, кто предложил более жизнеспособную модель человека. Таким образом, первенство США в мире определилось победой в состязании грез, воодушевляющих национальных мифов. И в Советской России, и в Америке была предпринята, отмечал Милош, попытка создать современную модель на основе утопических принципов. Но победил не советский «новый человек», а американский «старый», с прежними институтами религии, экономики, социальной практики. И да, посредством СМИ он действительно навязывает свой образ жизни всей планете, но что можно противопоставить его культуре, единственной, кстати говоря, из всех мировых честно обозначившей *мечту* («американскую мечту») как фактор формирования национальной идентичности?

Социальное, как всегда, уступило экзистенциальному — национальному и цивилизационному, ибо цивилизация тоже порождается уверенностью какой-то группы народов в совместной избранности, а в позднем Советском Союзе даже его лидеры уже не верили в собственную сказку и пытались состязаться с противником на заведомо проигрышных основаниях, в уровне и разнообразии потребления, опираясь уже не на интернациональный (имперский), но национальный принцип, требуя невозможного признания верховенства Старшего Брата.

Америка при этом, несмотря на свою пресловутую «бездуховность», умудрилась сделать еще и культурной столицей мира. Милош признавал, что во время его жизни в США там было больше читателей поэзии, чем в Европе, и что он никогда не получил бы Нобелевской премии, если бы остался жить во Франции. Но даже у этого счастливица кое-где прорывалась обида за славянство, испытывавшее когда-то давно, в 1920-е гг., унижение из-за законов, ограничивающих число виз для стран «второго сорта» — восточно- и южноевропейских. Процент славянских переселенцев был тем не менее высок, а доля их участия в культурной жизни невероятно низка. С чем это было связано? С низким общественным положением семей? С невниманием к гуманитарным направлениям при выборе обучения? С тенденцией к отказу от страны происхождения и сменой фамилий на англосаксонские?.. Рассуждения Милоша в очередной раз доказывают: для сохранения национальной культуры выгоднее соседство культурно чуждого народа, присоединение к которому не представляет экзистенциального соблазна. Даже делая карьеру среди «варваров», выходец из «избранного» народа в глубине души продолжает смотреть на него свысока. Другое дело — пребывание среди народа, чье превосходство и в глубине души не вызывает сомнений: тут ассимиляция практически неизбежна, если чужаки еще и не выделяются среди хозяев антропологически.

Американские поляки, узнавая, что поляк получил Нобелевскую премию, высказывались в том духе, что ему пришлось трудиться для этого вдвое больше, чем если бы он был выходцем из Западной Европы, поскольку будущему лауреату приходилось всеми путями компенсировать нежелательное происхождение. Здесь, однако, народная мудрость не возвысилась до понимания тонкостей национальной политики: умные владыки мира всегда демонстративно поощряют отдельных любимчиков из дискриминируемого меньшинства, постоянно кишащего недовольными, чтобы лишить козырей тех смутьянов, кто станет призывать их к открытому протесту. Правда, сам Милош вряд ли мог бы соблазнить своей карьерой кого-то, кроме кучки интеллектуалов, а более всего литераторов. Он был нужен скорее для форми-



рования альтернативной истории польской литературы, и в этом, судя по всему, свою роль сыграл. И роль несомненно положительную, хотя мне и неизвестно, какие «автохтонные» польские поэты были заглушены нобелевскими фанфарами.

Но фанфары даже в душе самого Чеслава Милоша, сверх самых смелых его мечтаний обласканного Западом, не сумели заглушить национальную обиду на глупость Запада. Эта глупость, с его точки зрения, заключалась... в изоляционизме, в стремлении поставить себя, свою модель человека и его образа жизни в центр мироздания. Да, нам всегда представляется чем-то вроде слабоумия — или уж крайней подлостью, когда другие хотят жить не нашими, а собственными интересами. Тем более не шкурными нашими, а высокими, национальными! Но Милош уверял себя и других: Запад глуп, потому что его воображение ограничено. Эта ограниченность проявляется и в презрении к народам Восточной Европы. Для счастливчика Милоша такое отношение к Восточной Европе наверняка естественнее, чем для любого из нас, «варваров», вольно или невольно внушающих страх одними своими размерами, не говоря о тех десятилетиях, когда мы несли миру красную заразу. Правда, я уже давно не понимаю, что именно в противостоянии «двух систем» породилось идеологией, а что геополитикой. Коммунистические грезы начали быстро оттесняться вечными задачами национального выживания, требовавшими сверхмобилизации не под теми, так под другими лозунгами; не уверен, что была возможна мирная политика среди военного психоза «тридцатилетней войны» 1914–1945 (обойтись без особых зверств и подлостей удалось только тем, кто был для этого недостаточно силен). Альтернативой коммунистической воодушевляющей химере могла быть только националистическая, и вполне возможно, что Россия спасла от фашизма еще и себя самое — коричневую чуму излечила красной заразой.

Для национальной же гордости мучительнее всего попасть в число «пустых» стран, не сыгравших заметной роли в общецивилизационном прогрессе, не способных ни особенно помочь, ни особенно повредить. Только почему же Милошу казалось, что такое восприятие порождено ограниченностью воображения, а не «иным опытом», в котором эталонным европейцам от тех стран, за которые у поэта болит душа, и впрямь всегда было ни жарко, ни холодно? «Исторические неудачники» — считая меня за своего, как о чем-то общеизвестном однажды обронил о славянах весьма просвещенный корреспондент одной из радиостанций, призванных нести цивилизацию в мир варваров. Боюсь, всем обольщенным цивилизацией, но не обольстившим ее народам рано или поздно придется вслед за Милошем понять, что так называемый цивилизационный выбор невозможно сделать в одностороннем

порядке: даже формальные корочки члена престижного клуба не гарантируют того, что ты и впрямь принят в него как равный. Больше века назад подобную неполноценность в европейском бомонде ощутили евреи — тогда-то и возник светский сионизм, пытавшийся и сумевший создать собственный клуб. Подозреваю, что когда-нибудь этого же пожелают и народы Восточной Европы. И попытаются создать какую-то мирную версию Варшавского договора.

Ничто так не сближает нации, не способствует их цивилизационному объединению, как наличие общей опасности. Варшавский договор был направлен против военной угрозы, которую никто не воспринимал как реальную, и потому ощущался ненужной обузой даже в России, если говорить о наиболее «модернизированной» части ее населения. Но сегодня у «второсортных европейцев» не может не нарастать ощущение исторической ущербности, для противостояния коему требуется уже не оружие, но прорыв в созидании чего-то *небывалого* — в науке, в технике, в искусстве. Страны, составляющие ядро европейской цивилизации, всегда будут смотреть на новичков свысока, как на своих учеников, куда те лишь повторяют, пусть как угодно блестяще, их уже известные достижения. Именно поэтому странам «полупериферии» необходимы прорывы, способные удивлять мир, расширять его представления о человеческих возможностях. Им следует объединять усилия в научных, культурных и технических проектах, поднять которые поодиночке им не по силам.

Решатся ли они на такую борьбу или так и будут «рано отправлять детей на заработки» в погоне за званием «нормальной европейской страны», то есть никому не интересной копии господствующего эталона?

Если же выразиться более научно, в сегодняшнем мире назрела необходимость не геополитических, но экзистенциальных союзов, предназначенных для борьбы не друг с другом, а с ощущением исторической мизерности человека и человечества. И для формирования национальной идентичности в глобализирующейся Европе необходимо нечто удивительное, уникальное, способное пробудить благоговейную фантазию.

А язык — язык при этом годится любой. Лучше тот, который меньше отпугивает и раздражает. Возможно, в этом отношении лучше всего подходят языки малых и физически слабых народов: их не боятся и к ним не ревнуют.